**Опубликовано в журнале:**[**«Континент» 2001, №109**](http://magazines.russ.ru/continent/2001/109/)

***ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ***

**Татьяна ГЕВОРКЯН**

**«Несколько холодных великолепий о Москве»**

**Марина Цветаева и Осип Мандельштам**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

Татьяна ГЕВОРКЯН — родилась в 1952 году в Ставрополе. Окончила Ереванский государственный университет. Кандидат филологических наук. Автор ряда статей по русской и армянской литературе. Член Союза писателей Армении. Живет в Ереване.

Начать, пожалуй, стоит с самого конца — с последнего обращения Цветаевой к Мандельштаму. В 1933 году, через 18 лет после их встречи в Коктебеле и через 17 лет после посвященных друг другу стихов, Цветаева в статье “Поэты с историей и поэты без истории” отнесла Мандельштама (наряду с Ахматовой и Пастернаком) к поэтам без истории — к чистым лирикам, глядящимся в себя, а не в мир, читающим в себе, а не в валах истории, шуме времени, чужих глазах.

Напомню вкратце, в чем суть цветаевской типологии. Если “поэты с историей прежде всего — поэты темы”, “поэты воли”, выбора и цели, поэты-путники (“пешеходы”), наделенные “инстинктом своей генеральной линии”, открывающие “себя через все явления, которые встречают на своем пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече”, то поэты без истории (“поэты-столпники”) прежде всего — поэты чувства, они, “в большинстве своем, — дети... очень ранней проницательности — прозрения своей обреченности на лирику”, поэты “с неусыпным ощущением судьбы, то есть себя”, наделенные мощным “инстинктом чужого”, инстинктом ограждения себя от всего чужеродного, отвлекающего, в их судьбе случайного, поэты, пришедшие в мир “не *узнавать,* а *сказать*”, ибо “они уже все”, что могут знать, “знают отродясь”. Свое “я” для поэтов без истории и есть мир, весь человеческий мир (“общество, семья, мораль, господствующая церковь, наука, здравый смысл, любой вид власти”), тогда как “я” поэтов с историей “равно миру” — “от человеческого до вселенского”.

Цветаева называет только двух поэтов с историей — Гете и Пушкина, а в связи с Пушкиным делает в скобках замечательное примечание: “Поэт с историей обладает еще и ясным взглядом на других”. И как бы уравновешивая покачнувшиеся чаши весов, тут же дает отличительную, почти обязательную черту чистых лириков — их способность раскрыть в юношеском, полудетском порой стихотворении всего себя, начать сразу же со своего максимума; способность, основанную на том, что “чувство не нуждается в опыте: оно все знает раньше и лучше”. И одно из подтверждений находит у раннего Мандельштама.

“Звук осторожный и глухой  
Плода, сорвавшегося с древа,  
Среди немолчного напева  
Глубокой тишины лесной, —

Четверостишие семнадцатилетнего О.Мандельштама, где весь словарь и весь размер зрелого Мандельштама. Автоформула. Что в первую очередь коснулось уха этого лирика? Звук падающего яблока, акустическое видение округлости. Что здесь от семнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в первую очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа есть тот самый падающий плод, который дал поэт и от которого... рождаются небывало широкие круги ассоциаций. Круглое и теплое, круглое и холодное, августовское — Августово (имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) — все это дарит Мандельштам воображению читателя в одной-единственной строфе. (Ассоциативная мощь лириков!) Характерная примета лирика: давая это яблоко, поэт не назвал его своим именем. И, в известном смысле, от этого яблока никуда не ушел”1 .

Думаю, что этот прощальный (ни разу позже не обратится Цветаева к Мандельштаму), попутный (статья-то, со всем своим “теоретическим” арсеналом, устремлена к Пастернаку, и приведенный выше фрагмент это все, что сказано в ней о Мандельштаме) цветаевский взгляд можно с легкой душой и без всякой натяжки назвать “ясным взглядом на другого” поэта. О себе же самой Цветаева, разумеется, не говорит в статье ни слова. Ушла ли она от своих юношеских автоформул (а они у нее были — и какие емкие, какие точные!), судить нам, прослеживая пройденный ею *путь самораскрытия* (и он тоже ведь был — взять хотя бы путь ее мысли о Поэзии и Поэте). Впрочем, четырьмя годами позже, отвечая письмом на неудавшуюся статью Юрия Иваска о ней, Цветаева проговорит то, чего, по понятным причинам, не сказала в “Поэтах с историей и поэтах без истории”: “Нужно было дать либо единство, либо путь (лучше *оба*, ибо есть — оба, и вопиюще есть!), Вы же все, т.е. двойную работу 20-ти лет, свалили в одну кучу... Так *нельзя*...” (VII, 406). Теперь уже простая логика подсказывает, что в лице Марины Цветаевой мы имеем дело не с *чистым* лириком (ибо есть оба начала), что она поэт с историей, лишним подтверждением чему исключительная аналитичность (и самоаналитичность, в том числе) ее склада, не свойственная тому типу поэтов, которые в ее терминологии названы поэтами без истории.

**\* \* \***

Мандельштам и Цветаева впервые встретились летом 1915 года в Коктебеле. В начале 1916-го знакомство это возобновилось — в дни приезда Цветаевой в Петербург, точнее, именно тогда состоялось настоящее знакомство, возникла потребность общения, настолько сильная, что Мандельштам последовал за Цветаевой в Москву и затем на протяжении полугода несколько раз приезжал в старую столицу. В последний раз, в июне, он приехал в Александров, где Цветаева гостила у сестры и откуда он внезапно уехал в Крым, — уехал, почти бежал, чтоб никогда уже больше не искать с нею встреч. Они еще виделись до отъезда Цветаевой за границу (есть об этом мемуарные свидетельства), но то была уже иная пора их отношений: в них не стало волнения, влюбленности, взаимного восхищения, как в те “чудесные дни с февраля по июнь 1916 года”, когда Цветаева “Мандельштаму дарила Москву”(IV, 156). К этим именно месяцам относятся стихи, которые написали они друг другу: десять стихотворений Цветаевой и три — Мандельштама.

После 1922 года (летом Цветаева через Берлин уехала в Чехию; началась ее эмиграция, из которой она вернулась лишь в 1939-м, когда Мандельштама не было уже в живых) они не встречались и не переписывались. В том же 1922 году увидела свет статья Мандельштама “Литературная Москва”, первая часть которой содержит резкие выпады против Цветаевой. Ей, однако, прочитать эту статью не довелось. Больше Мандельштам не писал о ней никогда, но со слов Анны Ахматовой известно, что он называл себя антицветаевцем и был согласен с Ахматовой в том, например, что “о Пушкине Марине писать нельзя... Она его не понимала и не знала”2 .

Между тем в эмигрантские свои годы Цветаева написала о Мандельштаме дважды: в 1926 году — “Мой ответ Осипу Мандельштаму”, а в 1931 — мемуарный очерк “История одного посвящения”. Часто упоминала она его и в своих письмах, неизменно отдавая щедрую дань его стихам, поэтическому его дару, не скрывая порой своей к Мандельштаму неприязни и настойчиво разграничивая свой и Мандельштама в поэзии путь.

Как видно уже из этой краткой биографической справки, отношения Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой были изменчивыми и отнюдь не простыми: начавшись с высокой ноты всяческого взаимного приятия, взаимных же поэтических посвящений, они довольно быстро охладились, а позже и ожесточились и были отмечены доходящей до резкости пристрастностью обоюдных характеристик. Тем любопытнее на этом именно материале проверить цветаевскую теорию о двух типах поэтов и, взяв за основу ее терминологию, выяснить: *как, каким* увидела, поняла и запечатлела Марина Цветаева, поэт с историей, Осипа Мандельштама, насколько “ясен” был ее взгляд. И с другой стороны, *как, какой* увидел и понял Осип Мандельштам, поэт без истории, Марину Цветаеву, что высветил он для себя и для нас в ее облике и образе. Другой, мандельштамовской, стороны будет, впрочем, гораздо меньше, ибо он несравнимо меньше написал о Цветаевой, чем она о нем. Меньше, но не менее красноречиво и, скажем так, репрезентативно — в интересующем нас сейчас плане, по крайней мере.

Нарушая хронологию, погрузимся, пожалуй, сразу же в бурный для Цветаевой 1926 год, ибо именно здесь завязался самый острый сюжет их с Мандельштамом заочных отношений. Этот год еще принесет ей звездные страницы переписки с Пастернаком и Рильке, а пока, в самом его начале, она пишет два нескрываемо резких “ответа”: нелюбимому, очень влиятельному в литературных кругах русского зарубежья критику Георгию Адамовичу и любимому поэту Осипу Мандельштаму. Имею в виду статьи Цветаевой “Поэт о критике” и “Мой ответ Осипу Мандельштаму”. Одна из них — первый серьезный подступ к теме поэтического творчества, Поэта, его подсудности-неподсудности, а другая — первая проза Цветаевой о Мандельштаме, написавшаяся в связи с его книгой “Шум времени”.

О себе — мальчике и подростке, о своей семье, о ранних своих впечатлениях, о мире имперской столицы, обступившем детское сознание, о юношеском становлении, об умонастроениях, в том числе и своих, времен первой русской революции и о Феодосии времен гражданской войны вспоминает Мандельштам в “Шуме времени”. И активным, формирующим началом этих воспоминаний выступает Петербург конца ХIХ века, добровольческий Крым, а еще — музыкальное, литературное, театральное, идеологическое, политическое наполнение предраспадной эпохи, какой увидел, понял и запомнил ее будущий поэт Осип Мандельштам.

Биографическое и культурно-историческое это повествование непривычно помечено, однако, почти тотальной “не-любовностью” вспоминания, о чем декларативно говорит в одной из главок сам автор: “Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое”3. И хотя признание это относится только к личным воспоминаниям, воспроизведенные в книге картинки “державного мира” тоже не отличаются ни теплотой, ни лиризмом, ни — тем более — ностальгией. Недаром о том ушедшем мире в стихотворении 1931 года Мандельштам скажет: “И ни крупицей души я ему не обязан”. А если добавить к этому сказанное в “Шуме времени” о том, что ему как разночинцу “не нужна память”, что “ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова”4 , то окажется, что никакого морального долга перед прошлым — что личным, что историческим — он за собой не признает и предоставляет “шуму времени” звучать в своей книге самостоятельно и вполне автономно. Но в художественной прозе, и особенно в прозе мемуарного состава и свойства, такая степень объективированности, увы, утопична хотя бы уже потому, что памяти свойственны избирательность и вкус (говорят даже, что вкус у нее хороший) — качества вполне субъективные, индивидуальные. На них и прореагировала Марина Цветаева.

Получилось так, что незадолго до прочтения книги Мандельштама “Шум времени” Цветаева совсем в другой связи в статье “Поэт о критике” высказалась о том, *кто* имеет, по ее мнению, право критиковать (читай — судить) поэта, *за что и как*. Или, если быть точнее, чей суд над собой сама она признает, к чьему голосу готова прислушаться, и какая критика — бессмысленна. О себе же — восставшей против произвола современной критики и некомпетентности откликающихся на ее произведения критиков — сказала: “Сужу только судей”. И вот буквально в те самые дни, когда ее статья увидела свет, Цветаева, находясь в Лондоне, прочитала “Шум времени”, а прочитав, взялась немедленно о нем написать, нахлынувшее негодование излить, то есть так или иначе оказалась в роли критика и судьи. Таким образом, параллели между двумя этими “ответами” напрашиваются сами собой; они помогут увидеть, соблюдает ли Цветаева, ставшая в одночасье разгневанным критиком и судьей другого поэта, те правила, те законы, которые вменяла своим критикам, признавала правомочными при суде над собой. К тому же в обоих случаях она была достаточно резка или, по меньшей мере, чувствительно задета, что заметно повышает возможность субъективности, а то и предвзятости, которые, как известно, не способствуют “ясности взгляда”.

Оговоримся, однако, сразу: до самого последнего времени никому и в голову не могло прийти сопоставить эти два “ответа” Цветаевой по той простой причине, что ни современники (за исключением узкого круга друзей, да еще сотрудников журналов “Версты” и “Современные записки”, где рукопись была прочитана и отвергнута), ни исследователи ее творчества не имели случая ознакомиться с откликом Цветаевой на “Шум времени”, ибо напечатан он был впервые только в 1992 году, к столетию Цветаевой, по черновой рукописи, к счастью, сохранившейся в одной из рабочих тетрадей. И еще одна оговорка: в статье “Поэт о критике” речь шла о “стихотворном критике”, его суждениях о поэзии, сама же Цветаева предметом своей отповеди сделала прозу Мандельштама. Итак, *проза*, а не стихи (и это очень важно), к тому же проза *поэта* (и это тоже важно). А важнее всего, пожалуй, то, что ответ Мандельштаму написан *поэтом*. Вот отсюда и начнем наше параллельное чтение.

Есть в статье “Поэт о критике” глава “Кого я слушаю”, открывая которую Цветаева пишет: “Слушаю я... каждого большого поэта и каждого большого человека, еще лучше — обоих в одном”. И, не удовлетворившись одной констатацией, поясняет: “Критика большого поэта, в большей части, критика страсти: родства и чуждости. Посему — отношение, а не оценка, посему не критика, посему, может быть, и слушаю. Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден — он. Род исповеди…” (V, 281). Таким образом сразу же становится ясно, что свое *право* на “критику страсти” Цветаева загодя оплатила своей *готовностью* такую критику выслушать (и при любом раскладе выслушать с интересом) от другого большого поэта, то есть никаких *исключительных* прав она себе, обрушиваясь на прозу Мандельштама, не присваивает, даже напротив, ставит себя — критика Мандельштама, и Мандельштама — критикуемого поэта, в одинаковые и не самые льготные для поэтов условия, о чем свидетельствует вступительная часть ее “Ответа”: “Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на *нашем* языке, на котором говорим или можем говорить мы все. Поэт в прозе — царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас — человеком... Вот ты передо мной голый, вне чар, Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, — брат тебе и судья... Два вопроса: сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)? Сумеешь ли ты им — царем или поэтом — *не* быть?.. Поклонюсь ли тебе — голому?” (V, 305). То есть поклонюсь ли тебе — человеку?

Цветаева говорит это Мандельштаму, и говорит *прозой* — неважно, художественной, мемуарной или критической. Главное, что она — поэт — заговорила прозой. “Проза поэта…” И теперь мы с полным основанием можем еще раз прочитать приведенный выше отрывок, со всеми содержащимися в нем вопросами, адресуя его самой Цветаевой, ибо и она в своем “Ответе” — царь без пурпура, Орфей без лиры.

Впрочем, Цветаева об этом и без нас знает, ибо вот же, в предыдущем процитированном отрывке, находясь в предполагаемой другой роли, о большом поэте, ставшем на время критиком, пишет: “Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден — он”. И далее: “род исповеди...” ( то есть вольной или невольной открытости, обнаженности) — причем, не тот ее род, который предопределен стихом, лирическим самоизлиянием, самим назначением поэта-лирика, не тот, который и есть его повседневность и ежечасность и которому — в порядке милости к человеку (Царю? Богу?), несущему нескончаемое это бремя исповедальности и откровения — соприданы изначально размеренность и ритм, некие эквиваленты дыхания и пульса. Нет, не этот род исповеди, другой — куда менее явный, могущий показаться послаблением и передышкой (не *о себе* наконец говорю, не *свое* наконец выношу на люди), но оборачивающийся нередко ловушкой, ибо — проверка на человеческую добротность, на человеческую, а не только поэтическую чуткость, нравственная, словом, проверка, так что, пожалуй, поэт, заговоривший языком критика и судьи, еще больше царь без пурпура, чем поэт, заговоривший своей собственной, не оценочной прозой. “О подсудности человека в поэте и неподсудности поэта в человеке”5 размышляла Цветаева двумя годами раньше в рабочей своей тетради и вот теперь подвергала испытанию человека в Мандельштаме и в себе, не задевая при этом поэта в человеке. Возможно ли это? Как бы отвечая нам, спустя годы совсем в другой связи Цветаева скажет: “Что такое “я” поэта? По видимости — это “я” человеческое, выраженное в строе речи. Но только по видимости...” (V, 398).

Но вернемся к “Поэту о критике” и прочтем следующее утверждение Цветаевой: “Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество — преемственность и постепенность. Я в 1915 г. объясняю себя в 1925 г. Хронология — ключ к пониманию... Два примера: суд и любовь. Каждый следователь и каждый любящий от данного часа идет назад, к истоку, к первому дню. Следователь — путь по обратному следу. Отдельного поступка нет, есть связь их: первый и все последующие... Критик: следователь и любящий” (V, 276 — 277).

И в полном согласии со сказанным о своем творчестве, о творчестве любом (“преемственность и постепенность”) поверяет Цветаева Мандельштама 1925 года, его прозу “Шум времени”, его же стихами 1910-х годов. Ее логика ясна и неоспорима: если мальчик, отрок, юноша жил и чувствовал так, как о том рассказано в его воспоминаниях, написанных в тридцатичетырехлетнем возрасте, то неизбежно ранние стихи, стихи “Камня” и “Тristia”, пробы первого самоузнавания, первого поэтического говорения должны были доносить хоть отголоски — пусть непрямые, пусть “развеществленные” — той жизни и тех чувств. Однако поход “к истоку, к первому дню”, к началу творчества не удостоверяет прозу 1925 года, а, по Цветаевой, отрицает и разоблачает ее, и, поставленная перед выбором между “взрослой” прозой и “молодыми” стихами, она решительно склоняется ко второму, ибо не верит не только в то, что может солгать (или даже умолчать о главном) юный поэт, но и в то, что из маленького холодного резонера, описанного в воспоминаниях, мог вообще получиться поэт.

Может быть, у Мандельштама, как у героя более поздней его прозы (“Египетская марка”), “были ложные воспоминания”, в которых “он был уверен”? Может быть, разгадка несоответствия, так болезненно воспринятого Цветаевой, кроется в странном для мемуариста признании Мандельштама: “Память моя враждебна всему личному”? Может быть, освобождая свои воспоминания от личного, которому место в стихах, он заменил свой детский портрет в естественном окружении близких и родных лиц картиной “державного мира” и имперской столицы в “шуме” 1890—1900-х годов? Может быть, *действительно* зачитывался юный Мандельштам до самозабвения Эрфуртской программой, до такого полного забвения не только себя, но и гармонии природы, что, находясь “ясной осенью, с паутиной на ячменных полях” на берегу окруженной пещерами, утопающей в зелени латышской речки Аа, мог искренне думать и чувствовать, что ничего не “может быть сильнее”, ничего не “может быть органичнее”, чем то, что он “весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, — и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе”6 ? Может быть...

Но Цветаева не поверила, что юный Мандельштам “слушал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!”7 Она слишком помнила другого Мандельштама, слишком любила его семнадцатилетний стих, который и процитировала позже в статье “Поэты с историей и поэты без истории” и который, по ее убеждению, развенчивает вышеописанные эмоции вокруг Эрфуртской программы: тогда слушал добрую дробь “достоверных яблок о землю”, теперь вспоминает, как прислушивался тогда к “набуханию капиталистического яблока”... (V, 315). И вывод из этого очевидного для нее несоответствия Цветаева делает действительно резкий: Мандельштам, считает она, задним числом подтасовал свои чувства и сделал это в угоду новой власти.

Оскорблены ли при этом политические пристрастия Цветаевой? Скорее всего не в них тут дело (да и были ли у нее *политические* пристрастия в чистом виде?). Судить поэта за идеологическую, пусть чуждую или даже враждебную ей позицию Цветаева никогда не стала бы — залогом тому ее отношение к Маяковскому. Да и в статье “Поэт о критике” она походя, как о чем-то очевидном, обмолвилась: “Резкое и радостное исключение — суждение о поэтах не по политическому признаку (*отсюда* — тьма!) — Кн. Д.Святополк-Мирский” (V, 292). К “тьме”, к большинству, к толпе не присоединилась бы она и просто по своему нраву — не снизошла бы. И в данном случае, заметим кстати, мнение ее тоже оказалось единоличным, ибо, по свидетельству Вл.Сосинского, присутствовавшего при чтении статьи о Мандельштаме, “все “не поэты” в эмиграции, прочтя эту книгу, — не нашли ее “большевиствующей”... Нашел ее таковой первый поэт и друг” (V, 689).

Впрочем, нашли (или не нашли) разное, потому что разное искали. Для Цветаевой важен был нравственный момент, а не политический “большевизм”. Признай Мандельштам свою неслиянность с предреволюционными умонастроениями, скажи, что только после 1917 года понял и принял то, чему отданы были помыслы и жизни революционеров задолго до Октября, не было бы у Цветаевой к нему претензий. Но Мандельштам нанес незаметную для постороннего взгляда позднюю ретушь на свое восприятие предреволюционных десятилетий, и такое его “задним числом” прозрение породило негодующий пафос Цветаевой, ибо, во-первых, “шум времени — всегда — канунный” (V, 315), а не ретроспективный, ибо, во-вторых, при этой “операции” исказились, по ее убеждению, черты Мандельштама — ребенка и юноши, о чем и сказано абсолютно недвусмысленно в ее “Ответе”.

Если писавших о “Шуме времени” (К.Мочульского, Д.Святополк-Мирского, В.Вейдле, Г.Адамовича, Ю.Айхенвальда) интересовало — каждого на свой, разумеется, лад — *что* увидел и услышал в том ушедшем времени Мандельштам и *как* он запечатлел это в слове, то Цветаева брала вещь совершенно в другом ракурсе: *кто* все это *так* увидел (отсюда ее ремарки типа: “автор говорит о восприятии 6-летнего ребенка”; “у Мандельштама, мальчика, репетитор”) и *когда —* сейчас, в 1925 году, или тогда, в 90—900-х. Разница, как видим, принципиальная, связанная, быть может, и с тем, что Цветаева сама была поэтом и другом Мандельштама. А еще с тем, что детство для нее было свято.

В мае того же 1926 года Цветаева писала Пастернаку: “Детство: место, где все осталось *так* и *там*”. А в 1933 году, как раз накануне своей “вспоминательной” прозы, Цветаева писала: “... Все мы в долгу перед собственным детством, ибо никто из нас (кроме, быть может, одного Гете) не исполнил того, что обещал себе в детстве, в собственном детстве, — и единственная возможность возместить несделанное — это свое детство — воссоздать” (V, 423). Ясно, как болезненно должна была ощущаться Цветаевой малейшая фальшь, закравшаяся в воспоминания о детстве, а в прозе Мандельштама она, увы, нашла все смещенным. Не будем забывать и о том, что в феврале 1916 года, в одном из своих стихов, обращенных к Мандельштаму, которому было тогда 25, она написала: “В тебе божественного мальчика / *Десятилетнего* я чту”. Как же многим, в ее глазах, обязан был именно он — поэт без истории Осип Мандельштам — своему детству! Так что резкость в отношении мемуарной книги Мандельштама имеет под собой давнюю основу, ибо нежность к мальчику, отроку, “отродясь” поэту шла издалека и чуть было не разбилась, столкнувшись с “Шумом времени”. Однако “чуть было” не в счет, потому что и в пылу страстной отповеди сохранила Цветаева любовь и доверие к открывшемуся ей когда-то образу, и в марте 1926 года — в негодовании и возмущении — сказала она тем не менее в ответ на прозу Мандельштама: “Не эпоху 90-х годов я беру под защиту, а слабое, малое, но все-таки чистое сердце Мандельштама, мальчика и подростка” (V, 315). Можно ли яснее выразить постоянство своего чувства и отношения? Можно ли быть последовательней в *своем* взгляде? И можно ли решительнее, недвусмысленней отодвинуть всяческую идеологию и политику на второй, малозначительный план?

“Критик: следователь и любящий”, — внушала Цветаева своим критикам и не отступилась от этих слов, став критиком Мандельштама, ибо как следователь вернулась к его истокам и встретилась там с любимой поэзией Мандельштама, которую, заметим это, ни на минуту не поставила под сомнение. Отдала она должное и “словесной живописи” мандельштамовской прозы, хотя сама она ею не тронута была нисколько, так как в ней отсутствовала, по убеждению Цветаевой, которое нам трудно не разделить, живая “ЖИЗНЬ” (об этом сказано, в частности, в письме к П.П.Сувчинскому от 15. III. 26). И тем не менее, предваряя восторги поклонников стиля Мандельштама-прозаика, Цветаева сказала: “Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад” (V, 315).

А причину цветаевского равнодушия к этому “вкладу” разъяснит нам еще одно обращение к статье “Поэт о критике”. “Для поэта самый страшный, самый злостный (и самый почетный!) враг — видимое, — писала она там. — Поработить видимое для служения незримому — вот жизнь поэта. И какое напряжение внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое. (Весь творческий процесс!)... Самоценность мира, для поэта, вздор. Для философа — повод к вопросу, для поэта — к ответу” (V, 284). Итак, внешний мир для поэта ценен не сам по себе, он лишь средство — незаменимое и ценнейшее, — благодаря которому “невесомости” и незримости внутреннего, душевного мира обретают очертания и вес, утверждаются в образах и символах “здешнего словаря и обихода”, становятся узнаваемыми и убедительными. Если за “видимым”, сколь угодно искусно живописанным, не стоит “незримое”, жаждущее через “внешнее” воплотиться, итог бесплоден и пуст, по Цветаевой — мертв. Именно такой итог увидела она в “Шуме времени”, именно против него в конце концов и восстала как критик и как поэт. “Эта книга... без сердцевины, без сердца, без крови, — только глаза, только нюх, только слух” (V, 311). И дальше, отвечая на свои же вопросы, заданные во вступительной части статьи, писала: “В прозе Мандельштама не только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уцелело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не переводит его на незримое — не делает промахов” (V, 315). Цветаева и в этом, очень важном для нее пункте отторжения от прозы Мандельштама остается верной себе, своему взгляду на вещи, изложенному в другой, куда более общей связи. Так стоит ли удивляться ее равнодушию к изощренному слогу, к покорившей многих “словесной живописи” Мандельштама-прозаика, стоит ли считать это равнодушие проявлением субъективности или предвзятости?

**\* \* \***

Итак, Цветаева не поклонилась Мандельштаму, “снявшему пурпур”, Мандельштаму-прозаику и человеку. Удалось ли, однако, ей самой сохранить “человечность человека” в своем “Ответе” на “Шум времени”? Уцелела ли в ее критике цеховая солидарность, не нарушила ли она этическую, нравственную норму, не принесла ли в жертву своему пусть праведному, но локально обусловленному негодованию однажды уже открывшуюся ей правду о поэте-современнике Осипе Мандельштаме? В письме к Д.А.Шаховскому от 8 марта 1926 года, то есть как раз накануне отъезда в Лондон, где и написался ее “Ответ”, Цветаева совсем в другой связи сказала: “Мне дорога вообще правда: чистота вывода” (VII, 34). Как же обстоит дело с “вообще правдой”, с “чистотой вывода” в ее критической прозе?

Начнем с этического момента. В двух частных письмах Цветаева назвала книгу Мандельштама “подлой”. 18 марта она писала Шаховскому: “Сижу и рву в клоки подлую книгу Мандельштама” (VII, 35). А за три дня до этого поделилась с П.П.Сувчинским своим, уже сложившимся, уже отчасти излившимся на бумагу отношением: “Мандельштам “ШУМ ВРЕМЕНИ”. Книга баснословной подлости. Пишу — вот уже второй день — яростную отповедь. Мирский огорчен — его любезная проза. А для меня ни прозы, ни стихов — ЖИЗНЬ, здесь отсутствующая. Правильность фактов — и подтасовка чувств” (VI, 317). Из сказавшегося в письмах дословно повторилось в статье только последнее предложение второго отрывка, и хотя по существу позиция Цветаевой от писем к статье не изменилась нисколько, высказываясь для печати, она притушила резкость лексики, а главное — так щедро оснастила свой “Ответ” выдержками из “Шума времени”, так убийственно метко откомментировала приведенные цитаты, что в глазах внимательного читателя, не захлестнутого эмоцией обиды за Мандельштама, отвела от себя раз и навсегда грех голословности, вкусовой или интерпретаторской произвольности.

Она написала свой “Ответ” как давний друг Мандельштама, друг, у которого есть с ним общие знакомые, общие воспоминания, как негодующий друг, останавливающий себя, однако, всякий раз, когда память подсказывает невыгодные для Мандельштама эпизоды из частной его жизни, из его с Цветаевой отношений. Она написала свой “Ответ” Мандельштаму как равноодаренный, равновеликий поэт, именно в силу такого равенства, а не по причине недопонимания его гения могущий нестесненно судить о его удачах и промахах. Она написала о Мандельштаме с глубоким пониманием его исключительности и со столь же глубоким сожалением (изумлением!) по поводу его человеческой, личностной недостаточности, проявившейся в прозе и знакомой ей, вероятнее всего, “по жизни”. Она любила в нем маленького ЧЕЛОВЕКА (ребенка), она не смирилась с МАЛЕНЬКИМ человеком в нем. В ее страстной отповеди сохранена логика дружбы и любви (ибо к чувствам Цветаевой вполне применим этот оксюморон — логика любви), а еще сохранена верность “вообще правде”, тяга к “чистоте вывода”, причем, к чистоте не только логической, но и нравственной. Во славу этой верности и тяги, во славу своей собственной человечности заканчивает Марина Цветаева неподражаемый образец “критики страсти”, каковым единственно и можно назвать ее “Ответ”, признанием незапятнанности и величия Мандельштама-поэта. “Было бы низостью, — говорит она в финале статьи, — умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался *чист*. Что спасло? Божественность глагола... Большим поэтом (чары!) он пребыл” (V, 316). И еще раз возвращаясь к “Поэту о критике”, вспомним, чем хороша в глазах Цветаевой критика большого поэта: “Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден — он”. Думаю, что из ее “Ответа” встает и Мандельштам, встает таким, каким его в те (особенно) годы могли увидеть очень и очень немногие, и уж совсем определенно — видна она сама, Марина Цветаева, сумевшая и в прозе (к тому же — в критической прозе) остаться поэтом и без пурпура сохранить не только человечность, но и царственную щепетильность.

А человечность и царственность, если они настоящие, “рожденные”, не избирательны и не произвольны (впрочем, как и отсутствие их). И в данном случае на Мандельштама они излились по закону исключенной другой возможности — вопреки сделанному им, но в полном согласии с цветаевской натурой. Думаю, именно эти свойства ее натуры, сочувственно откликнувшись одному из персонажей “Шума времени”, и заставили Цветаеву взяться за перо. Точнее — задетость их в ней как в читателе и недостаточность их в Мандельштаме как в создателе всей книги и в особенности одной из ее главок — “Бармы закона”. Не случайно именно с этой — в книге Мандельштама почти заключительной и, по мнению других рецензентов, периферийной — главки начинает Цветаева свой “Ответ”.

Попросту говоря, она встает на защиту попранного достоинства полковника Цыгальского, скромного, отзывчивого человека, офицера Добровольческой армии, поэта-любителя, которого знала когда-то понаслышке как друга Максимилиана Волошина и автора запомнившихся ей строк о будущей России — все равно монархической или республиканской, но “без меча над чашами весов”. И вот о нем иронично, а по сути, бездушно рассказал Мандельштам, осмеяв и стихи, ему доверительно, с волнением неофита прочитанные, и доброту, и нищету полковника, позабыв упомянуть лишь о том, что в те трудные годы и ему, Мандельштаму, как многим другим, помогал, чем мог, Цыгальский. А между тем полковник Цыгальский был одним из тех, кто вызволил арестованного в Феодосии Мандельштама из врангелевской контрразведки.

Здесь, думаю, и лежит “зерно зерна” статьи Цветаевой, здесь исток ее негодующей критики, ибо не могла смириться с рассказом о человеке как о вещи — много точных внешних деталей, тонкое словесное плетение, поразительная зоркость и памятливость на штрихи обстановки, едко откомментированные, — и абсолютная душевная глухота (“правильность фактов — и подтасовка чувств”\* ). Полковнику Цыгальскому, точнее, маленькой главке “Бармы закона” (всего 2 странички) оттого и посвящена ровно половина цветаевского “Ответа”, что на этом пятачке печатного текста уместилась, в рамках одного минисюжета, *троякая* нечуткость — сразу три нравственных промаха: нечуткость большого поэта к чужим стихам, пусть невеликим, пусть любительским, но искренним и сокровенным, стихам, осмысляющим кровавый, чреватый страшными последствиями миг в истории России; нечуткость к живому человеку (подлинная фамилия которого сохранена в “Шуме времени”) — в положении явно затруднительном; нечуткость к поверженной силе Добровольческого движения, враждебного к тому же не России, а только одной из порожденных ею идеологий.

Начнем с конца. Феодосия двадцатого года, последнее пристанище Добровольческой армии в России. Как запомнил и описал Мандельштам защитников старого строя и город, приютивший их? Привожу цитату из “Шума времени”, сохраняя сделанный в скобках комментарий Цветаевой: “Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электричеством здоровья и молодости (Мандельштам точно ходит по зверинцу или по басне Крылова, переходит от клетки к клетке: собака, волк, лиса, — ассоциации по смежности). На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с детскими наглыми и опасно-пурпурными карими глазами был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим” (V, 309).

Цветаева безошибочно уловила однобокость и утрированность этого по видимости правдивого и точного, а по сути — “пропагандистски” подредактированного протокола времени. “Красная Армия, — писала она, — не есть ЧЕКА и добровольчество не есть контрразведка. Вы могли предпочесть Красную, Вы не смели оплевывать Белую. Герои везде и подлецы везде. Говоря о подлецах *наших*, Вы обязаны сказать о подлецах *своих*” (V, 310).

С нравственных, а не с политических позиций сказала Цветаева Мандельштаму в 1926 году: “Вы не услышали добровольческих песен, Вы не увидели и пустых рукавов, и костылей. Вы не увидели на лбу — черты загара от фуражки. Загар тот свят. Не мне — перед Вами — обелять Белую Армию. За нее — действительность и легенда. Но мне — перед лицом всей современности и всего будущего — заклеймить Вас, большого поэта... Будь Вы в армии (любой!), Вы этой книги бы не написали” (V, 310). То есть, позволю себе продолжить, испытай Мандельштам на себе горечь поражения и ярость борьбы, узнай он на собственном опыте цену победы, не смог бы он, большой поэт, так равнодушно и однобоко взирать на противника, на любого по убеждению воюющего человека. Реальный же упрек все тот же: “как может большой поэт быть маленьким человеком”, человеком, которому воображения и со-чувствия недостает на то, чтобы проникнуться чужой болью, чужой бедой.

Но оставим большой и чуждый Мандельштаму театр военных действий и возьмем камерную ситуацию. Камерную — и к поэзии, делу его жизни, имеющую отношение. Мандельштам, гость, и полковник Цыгальский, хозяин нищей квартирки, сидят рядом и не в первый раз коротают вместе время. И вот “однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он (Цыгальский. — *Т.Г.*) прочел стихи”. И далее о стихах Цыгальского: “Там было неловкое выраженье: “Мне все равно с царем или без трона...” и еще пожеланье о том (цитируя эти строки, Цветаева поставила здесь знак вопроса, без лишних слов отметив им очевидную неловкость мандельштамовского выражения. — *Т.Г.*), какой нужна ему Россия: “Увенчанная бармами закона”, и прочее, напомнившие (так в книге. — *Т.Г.*) мне почерневшую от дождя Фемиду на петербургском Сенате”8 . Напрямую о стихах Цыгальского больше ничего у Мандельштама не сказано, но *в связи* с ними состоит следующее: “Бармы закона” вынесены в заглавие, в одном месте они названы “странной принадлежностью государственного туалета”, а заканчивается главка резюмирующим предложением: “Полковник — нянька с бармами закона”. Вот и все. Человек вместе со своими стихами, робостью и откровенностью — стерт, иронически уничтожен. Вот только за что?

Цветаева, повертев и так и этак строчку из стихотворения Цыгальского, процитированную Мандельштамом, решительно не находит ее неловкой: смысл ясен, использование двух разных слов для обозначения одного понятия более чем законно и в обычной речи, и в стихах. Придирчивость Мандельштама качеством строки не объясняется. Но тогда чем она вызвана? Небрежением к чужому слову, большей взыскательностью к Цыгальскому-поэту, чем к себе самому. Все той же нечуткостью, которая заставляет Мандельштама искать причину смущения в чем угодно (а угодно искать только во внешнем: голос, примус, сестра, сапоги, табак), только не в самом простом и понятном — в робости любителя перед профессионалом, в робости никому не известного поэта, вынесшего свои стихи на суд известного и авторитетного. Что-то происходит со слухом и чувством Мандельштама, когда они направлены на другого человека. Его подводит даже собственный опыт, в связи с чем Цветаева пишет: “Помнится, Вы, уже известный тогда поэт, в 1916 г. после нелестного отзыва о Вас Брюсова — плакали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому” (V, 307).

Не даст. Сделает для одного себя исключение. И, зная, что это единственное пространство (кстати, “диким пространством” названа у Мандельштама душа Цыгальского), на котором его не подведет ни болевая, ни какая-либо другая чувствительность, Цветаева переводит разговор на самого Мандельштама, напоминает ему действительные неловкости, прокравшиеся в его собственные стихи, неловкости, замеченные, а то и подправленные друзьями, но отнюдь не высмеянные и даже не оглашенные, а легко прощенные, найденные даже “милыми и очаровательными”. Вспомним цветаевские слова из “Поэта о критике”: “Сужу только судей”. В согласии с ними она заговорила об уязвимых строчках Мандельштама только в ответ на его мелочный суд над другим, несопоставимо меньшим поэтом.

И, наконец, последнее. Уже не стихи, а сам Цыгальский и его жизнь, увиденные глазами Мандельштама. “Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла Добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку… Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг... Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии? Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: “Голубчик, бросьте, пойдемте лучше ко мне — поговорим!”... Полковник — нянька с бармами закона”9 .

Цветаева уточняет: не сестра, а жена, и еще два сына-кадетика, 12 и 13 лет, “которых Вы по легкомыслию своему обронили по дороге своего повествования”, словом, голодная семья с единственным кормильцем — поэтом в душе, полковником Цыгальским, ухаживающим за больными, распределяющим между ними и дорогим гостем скромный паек, приносимый из юнкерской академии, куда Цыгальский “ходил читать артиллерийскую науку, как студент на урок”. И это о нем с недоумением спрашивает Мандельштам: “Зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?” Считая, вероятно, что в армии нужны только люди, на которых “возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна”.

Мне вспоминается давняя статья Бенедикта Сарнова о “новой прозе” В.П.Катаева, прозе, которая в 60—70-е была у всех на устах, за что-то одобряемая, за что-то другое осуждаемая. Точнее, кем-то одобряемая, кем-то осуждаемая. Сарнов занял позицию этих вторых и в блестящей своей статье “Угль пылающий и кимвал бряцающий”10 , отдавая должное наблюдательности Катаева, точности, меткости его деталей, говорил, однако, о том, что где-то на полпути к хваленой этой точности, к ассоциативному богатству своей прозы Катаев утрачивает нравственный контроль над своим пером, ради красного словца забывая о живом реальном человеке — *не* вымышленном герое воспоминаний — и обо всем том, что связывало его, молодого Катаева, с ним — ставшим теперь беззащитным литературным персонажем. Пример, приведенный тогда Сарновым, памятен, думаю, многим. Катаев после смерти Ивана Бунина, которого почитал своим учителем, посетил в Париже Веру Николаевну Муромцеву, вдову Бунина — преданнейшую женщину, которая в нищете и старости до последнего часа ухаживала за умирающим мужем и вообще, вероятно, была из тех людей, которые, как выразился Мандельштам, созданы, “чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон”. Катаев увидел опустошенную старую женщину, увидел в обстановке убогого, неопрятного, одинокого стариковского жилья и, зорко подметив доминирующий в ее облике белый цвет (то есть — бледность, седость, потустороннюю отрешенность от красок жизни), сравнил ее с... белой мышью. Ассоциация по внешнему признаку заставила Катаева забыть все прочие, так естественно напрашивающиеся чувства. Если они были.

Так вот, “коровий испуг”, в глазах “слабоумной и плачущей” сестры Цыгальского, похожей “на сумасшедшую гадалку”, а еще “эмблематический орел” (орел Добровольческой армии) — “больной жалкий, слепой, с перебитыми лапами”, так хладнокровно подмеченные и живописанные Мандельштамом, заставили меня подумать, что у бездушности Катаева был неназванный, великий, одну лишь Цветаеву возмутивший учитель.

“Итак, — резюмирует Цветаева: — человек, ухаживающий за больной женщиной, — нянька. Если этот человек к тому же пишет стихи о бармах закона — он нянька с бармами закона. Слабый вывод. Вот логика и вот сердце Осипа Мандельштама” (V, 309).

**\* \* \***

И еще одно цветаевское резюме, сделанное по прочтении “Шума времени”: “Ваша книга — натюрморт...” То есть мертвая натура — царство оживающих, толпящихся в нетерпении быть запечатленными вещей и кладбище человеческих судеб и лиц, искусно обрамленных великолепной россыпью вещественных знаков времени. Нельзя, впрочем, не заметить, что эту особенность оптики мандельштамовских чувств, эту натюрмортность человеческого присутствия в его писаниях Цветаева знала и прежде — испытала, так сказать, на себе. Годом раньше о стихах Мандельштама, написанных весной 1916 года и посвященных ей, она сказала — “несколько холодных великолепий о Москве”. Сказала не публично, просто сделала запись в рабочей тетради. Справедливы ли, однако, эти слова? Ведь Мандельштам в тот романтический период их знакомства откликнулся на ее стихи великолепными строчками, пронизанными новым и очень сильным для него впечатлением от Москвы, которую она ему, впервые попавшему в Москву, дарила. Соборы, церкви, история и архитектура — все разноголосие старой столицы чарующим аккордом прозвучало в этих стихах, и мелькающая в них тень женского образа — сродностью своей Москве и Руси — одухотворила и обозреваемый город, и очень личностно, хоть и туманно переживаемую историю.

Вспомним, однако, сколько энергии вживания в образ петербургского гостя вложено Цветаевой при создании ее стихов, адресованных Мандельштаму, — тут и черты внешнего облика (“Ты запрокидываешь голову/ Затем, что ты гордец и враль”, “Чьи руки бережные нежили / Твои ресницы, красота...”), и разгадка характера (вечный ребенок и отродясь поэт), и прочерченность поэтической традиции, вскормившей его (“Молодой Державин”), и признание его превосходства над собой (“Я знаю, наш дар — неравен, / Мой голос впервые — тих”), и пророческий загляд в его будущее (“Голыми руками возьмут — ретив! упрям! — / Криком твоим всю ночь будет край звонок! / Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам...”) — и сравним это богатство его *живого* присутствия в ее стихах с “элегантным” промельком ее тени в первом из обращенных к ней стихотворений Мандельштама — “В разноголосице девического хора”. В нем четыре строфы, и каждую замыкает строка с намеком на женского адресата. Прочитаем подряд эти композиционно значимые, конструктивно и эмоционально выделенные строчки и постараемся найти в них что-нибудь узнаваемо цветаевское:

1.... И в дугах каменных Успенского собора

*Мне брови чудятся, высокие, дугой.*

2. В стенах Акрополя печаль меня снедала

*По русском имени и русской красоте.*

3. ... Что православные крюки поет черница:

*Успенье нежное — Флоренция в Москве.*

4. И пятиглавые московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне явление Авроры,

*Но с русским именем и в шубке меховой.*

Согласимся, “русское имя” и “русская красота” — слишком общее, вполне неиндивидуальное место, чтобы в них узналась именно Марина Цветаева. “Шубка меховая” и “высокие брови, дугой” (к тому же подсказанные каменными дугами арок — то есть пустых глазниц) настолько внешние и вещные признаки, настолько безразличные и к глазам, полукружьем бровей осененным, и к сердцу, из тесноты груди и шубки рвущемуся, что если такое ее присутствие и задумывалось как комплимент или признание в любви конкретной женщине, то женщина эта, и тем более женщина-поэт (с именем, кстати, морским, отнюдь не каменным и не русским), женщина-поэт, сказавшая о “презрении к платью плоти временному” (что уж говорить о платье куда более съемном и временном — шубке меховой), с полным основанием могла ощутить взгляд Мандельштама как холодное скольжение по достопримечательностям столицы, в вереницу которых включена и она — наперекор всей ее природе обезличенная и обескровленная.

Но при этом как бы названная по фамилии. Правда, не всякий и не сразу это поймет, но по наблюдению В.М.Борисова, в строчке “Успенье нежное — Флореция в Москве” Флоренция есть этимологически точный перевод фамилии Цветаевой11. На том же — находя этот штрих замечательным, особого внимания заслуживающим — настаивает и американский профессор Омри Ронен, который, говоря о поэтической перекличке Мандельштама и Цветаевой, к весне 1916 года относящейся, в частности, замечает: “Он ответил ей очаровательным стихотворением о старинных соборах XV века в Кремле, о творении Аристотеля Фиораванте (“Успенье нежное — Флоренция в Москве”); принимая во внимание “цветочную” фамилию его “корреспондентки”, аллюзия здесь особенно элегантна”12 .

Но, к сожалению, ни сама аллюзия, ни ее элегантность дела не меняют: Мандельштам ни одним словом не обратился к своей “корреспондентке”, не уловил и не назвал ни одной цветаевской черты, глядя вместе с ней на красоты кремлевских соборов, ее саму проглядел. Потому стихотворение “В разноголосице девического хора”, которое знаток и исследователь творчества Мандельштама Омри Ронен (равно как и сторонний читатель) с полным правом, но в некотором отвлечении от адресата может назвать “очаровательным”, сама Цветаева с не меньшим правом восприняла лишь как “холодное великолепие о Москве”. С какой точки смотреть. И чтобы уже не возвращаться к этому, здесь же и скажем, что и на прозу Мандельштама, к ней лично никак не относящуюся, Цветаева — одна среди всех своих современников, нашедших ее во всех отношениях “очаровательной”, — посмотрела с привычной для себя точки зрения, с той точки, откуда в первую голову виден *человек* — и пишущий, и описанный; и хозяин — распорядитель мемуарного действа, и каждый его из прошлого гость.

**\* \* \***

Посмотрим же и мы с этой точки зрения на “крупнейшего знатока творчества Мандельштама” Омри Ронена, который, тонко уловив “элегантность” мандельштамовской аллюзии и ненадолго переведя взгляд на Цветаеву, забыл почему-то и об утонченности, и об элементарных приличиях. Не без внутреннего сопротивления привожу его слова о Цветаевой из статьи, открывающей юбилейный мандельштамовский номер “Литературного обозрения”: “К счастью, это увлечение (Мандельштама Цветаевой. — *Т.Г.*) длилось недолго. Цветаева была замечательным поэтом, но порочной женщиной, со склонностью к мифомании и романтическому лицедейству. Ее отношение к Мандельштаму, судя по ее стихам, мемуарам и письмам, колебалось от нежности до жестокости”13 . Между чем бы и чем ни колебалось отношение Цветаевой к Мандельштаму, неколебимым оставался ее пиетет к его поэзии, о чем здесь было уже немало сказано. Потому, не вступая по этому поводу в полемику с американским профессором, подивлюсь только грубости его лаконичного, ничем не подтвержденного, никак не смягченного приговора: замечательный (?) поэт, но порочная женщина, мифоманка и лицедейка (несколько “выпрямляя” высказывание Омри Ронена, я не стремлюсь представить его более жестким, напротив, я освобождаю его от оттенка психиатрического диагноза, который вольно или невольно привносится оборотом “со склонностью к...”). Суровый, должно быть, человек Омри Ронен и нелицеприятный — но вот справедливый ли и всегда ли такой целомудренный, такой щепетильный?

Дойдя в своем повествовании до первого ареста Мандельштама (16 мая 1934 года), Омри Ронен пишет: “В тюрьме Мандельштаму не давали есть и спать. Следователь хорошо знал весь круг знакомых поэта и вынудил его составить приблизительный список лиц, слышавших стихотворение (имеется в виду стихотворение “Мы живем, под собою не чуя страны”, ставшее поводом ареста. — *Т.Г.*). В своих мемуарах Эмма Герштейн, одна из тех, кого нехотя Мандельштам упомянул в списке, использует этот случай как наглядный пример равнодушия Мандельштама к судьбе друзей. Однако легкость, с какой поэт распространял опасное стихотворение и потом рассказывал об этом*, скорее можно объяснить самим его назначением — разорвать завесу молчания* (выделено мной. — *Т.Г.*), о чем красноречиво говорится в первых строчках: “Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны”. И он был услышан. Людей тогда расстреливали за куда меньшие провинности. К счастью, друзья Мандельштама еще обладали некоторым влиянием. Приказ Сталина, подводящий итог следствию, был: “изолировать, но сохранить”14 .

Между тем в документально оснащенной книге “Гибель Осипа Мандельштама” говорится, что никакого мучительства Мандельштаму на себе испытать не пришлось, да и “не было нужды тратиться на пытки, потому что поэт, подавленный, растерянный, оказался “*легкой добычей*” и на первом же допросе рассказал всё”15 . Впрочем, нет, не совсем всё, ибо в протоколе допроса от 19 мая появилось такое признание: “В дополнение к предыдущим показаниям должен добавить, что к числу лиц, которым я читал названное выше контрреволюционное стихотворение принадлежит и молодая поэтесса Мария Сергеевна Петровых. Петровых записала это стихотворение с голоса, обещая, правда, впоследствии уничтожить”16 . Согласимся, если список лиц, нехотя составленный Мандельштамом по требованию следователя, был действительно приблизительным (как утверждает Омри Ронен), совсем необязательно было *добавлять* в него молодую поэтессу Марию Петровых (ей было в 1934-м всего 26 лет), тем более, что ей в начале того же года посвятил он два стихотворения, ей в одном из них сказал: “Ты, Мария, — гибнущим подмога...” И уж совсем необязательно было сообщать, что “Петровых записала стихотворение с голоса”. Ибо, во-первых, ни один следователь знать об этом не мог и потому ждать, а тем более требовать такого признания тоже не мог. Ибо, во-вторых, известно для чего записала (если записала) — чтобы сохранить, спасти от забвения в изустном виде существующее стихотворение. Так что есть в этих показаниях Мандельштама избыточная какая-то “легкость”, какое-то избыточное “равнодушие к судьбе друзей”, и не эту ли избыточность предвосхищая, написал он во втором стихотворении, посвященном Марии Петровых:

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,

Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

Правда, по словам Н.Я.Мандельштам, сохраненным Э.Герштейн, эпизод с показаниями Мандельштама о Марии Петровых имел следующую подоплеку: “На следствии Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, записанные кем-то. Ему показалось, что это почерк Марии Петровых... Если “у них” есть уже запись этого стихотворения, сделанная рукой Марии Петровых, то как же он не указал на нее в числе слушателей?!. На следующем допросе он решил исправить свою ошибку. Не дожидаясь вопроса, он “поспешил” сделать вышеприведенное признание, подведя тем самым Марию Петровых под статью: “распространение контрреволюционного материала”17 . Кстати, Эмма Герштейн оспаривает датировку второго стихотворения, посвященного Петровых, считая, что “черную свечку” Мандельштам, мучимый совестью, написал позже, в апреле 1935 года.

Но вернемся к Омри Ронену. Для того, чтобы оправдать небрежение Мандельштама интересами и безопасностью друзей и почитателей его таланта, усилиями которых, кстати, на сей раз отведен был от него карающий меч суда и расправы, Омри Ронен апеллирует не к человеческой слабости, по человечески же — в конце концов — могущей быть понятой и прощенной, но выдвигает вполне мифическую версию, в свете которой Мандельштам, “с легкостью”, целым списком выдавший близких ему людей, предстает в роли некоего Мессии, призванного “разорвать завесу молчания”. Странную, согласимся, мотивацию поведения выдвигает Омри Ронен, — особенно если учесть, что сказанное тогда и внесенное в протоколы допросов становится достоянием общественности только теперь, спустя десятилетия, когда тот строй уже давно разоблачен и благодаря тому, что он перестал уже существовать. И еще одна странность роненовской версии — абсолютная исключенность из нее нравственного момента.

Не могу не отметить, насколько достойнее и для Мандельштама предпочтительнее позиция Сергея Аверинцева, который, не вдаваясь в подробности, не называя никаких конкретных фактов, говорит лишь, что “не одним врагам с ним (Мандельштамом. — *Т.Г.*) нелегко”, и слова Мандельштама: “мучитель наш”, сказанные о Лермонтове, переадресовывает ему самому18 .

Закончить же эту тему, которая оттолкнулась от “элегантности”, а привела, в конце концов, к откровенным неприглядностям, хочу двумя вопросами:

1. Почему авторитетный ученый позволяет себе (в рамках одного очерка, названного в редакционной врезке “*блестящим, концептуально насыщенным и проникнутым подлинной любовью к Мандельштаму, русской истории и культуре”)* так по-разному подходить к двум великим поэтам, жившим в одно — и не самое легкое для поэзии и для жизни — время: с одной стороны — до грубости бесцеремонно отзывается о Марине Цветаевой, не затруднив себя при этом ни единым доводом; с другой — в своей бесконечной бережности к Мандельштаму доходит до прямых измышлений, игнорируя живые голоса свидетелей и участников давних уже событий, лет и дней? Откуда эта двойная оптика и этика?

2. Кто же проявил “склонность к мифомании” — Марина Цветаева, почувствовавшая в авторе “Шума времени” серьезную человеческую слабину, имевшую, естественно, проявиться в экстремальных условиях 1934 года, или Омри Ронен, попытавшийся нежизнеспособной, мертворожденной легендой переспорить упрямые факты?

Оставлю оба вопроса открытыми. Но напомню в связи с ними свидетельство Эммы Герштейн о том, как в 1956 году, прочитав пару страниц ее воспоминаний о Мандельштаме, Анна Ахматова воскликнула: “Нет, нет! Об этом нельзя писать!” И на удивленный вопрос, почему же нельзя, ответила: “Потому что... потому что... потому что Осип был неправ!”19 . Не с рецидивом ли той давней дружественно-охранительной позиции приходится сталкиваться нам сегодня?

**\* \* \***

А теперь посмотрим на Цветаеву глазами Мандельштама. В 1922 году в обзорной статье “Литературная Москва” (которая, в отличие от цветаевского “Ответа”, тогда же и была напечатана) он упомянул и Цветаеву, упомянул как истинный “антицветаевец” — неприязненно и раздраженно. К этому времени он, по-видимому, разлюбил в ней все, а то, что прежде больше всего нравилось и притягивало, под чары чего он на какое-то время подпал, раздражало его теперь острее и больше прочего. Петербургский гость, очарованный московской музой, получивший от нее в дар первопрестольную столицу (и, что в обстоятельствах зимы—весны 1916 года было почти неизбежно, принявший Москву в цветаевской транскрипции), Мандельштам, охладев и отдалившись, направил самые острые стрелы своего неприятия именно в эти две мишени — московская муза и цветаевская Москва. Первую он просто стер как несуществующую: “Худшее в литературной Москве — это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии...”20 Во второй он ощутил теперь непереносимую для себя патетику и фальшь, что с некоторым даже перебором негативизма излилось в его словах о “безвкусице и исторической фальши стихов Марины Цветаевой о России — лженародных и лжемосковских”21 .

Жаль, конечно, что отношение Мандельштама к Цветаевой так резко изменилось и что отныне он перестал слышать и воспринимать ее голос в поэзии, но психологически тут все понятно и объяснимо: сила притяжения равна силе отталкивания — в любви-нелюбви такое случается часто. К тому же, по слову отвергнутой им Цветаевой, “отношение не только не суд, само вне суда” (V, 281). До тех пор, правда, пока это только отношение, то есть “определение ее (вещи. — *Т.Г.*) в собственном сердце” (V, 281). И даже тогда, когда оно высказывается прилюдно или печатно, оно остается “критикой страсти”, интересной в устах большого поэта уже тем, что в ней “во всяком случае виден — он” сам. Мы снова вернулись к статье “Поэт о критике”, которой поверялся выше отзыв Цветаевой на “Шум времени”, и теперь, когда роли поменялись и Мандельштам оказался критиком Цветаевой, к тому же критиком не менее резким, чем она, попробуем соотнести его позицию с той же самой, уже известной и апробированной шкалой.

Вольно или невольно в этой статье Цветаева загодя отпускает каждому большому поэту грех хулы на нее, по крайней мере до тех пор, пока она не выходит за пределы личного отношения и не становится оценкой, то есть “определением вещи в мире” (V, 281). “Можно ли ошибиться в отношении? — спрашивает она и продолжает: — слыша и видя... то-то и то-то, он (большой поэт, любой человек. — *Т.Г*.) испытывает то-то и то-то. С чем тут спорить? Настолько единолично, что и учесть невозможно” (V, 281). Вот и мы не станем спорить с *мнением* Мандельштама, что “для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой”22 . (Чуть ниже будет сказано — “домашнее рукоделие”.) Не будем спорить, ибо и эти слова, хоть и с большой натяжкой, могут еще быть восприняты как определение Цветаевой в сердце Мандельштама. Но когда он соотносит Цветаеву с другими поэтами современности, когда рядом с ее именем, как соизмеримые, ставит имена Анны Радловой и Софьи Парнок, когда говорит, что стихи Цветаевой о Москве “неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы” (тем самым давая понять, что до мужской силы стихам Цветаевой ох, как далеко), Мандельштам явно переходит в область оценки, суда, “определения вещи в мире”, а не только в своем сердце. Он заведомо исключает Цветаеву из мира “мужской поэзии”, то есть собственно поэзии, ибо, говоря о “женской поэзии” как о чем-то отдельном, всегда имеют в виду некую второсортность, изначальную инакость. Однако сегодня уже и с этой оценкой Мандельштама спорить не имеет смысла — время все расставило по своим местам, и не мне вызволять Цветаеву из этого нелепого, чуждого ей, хоть и женского окружения. Тем более, что две реплики Иосифа Бродского из его диалога с Соломоном Волковым о Цветаевой непреднамеренно, разумеется, но очень веско ответили выстроенному Мандельштамом ранжиру. На вопрос Волкова, есть ли “женская поэзия... нечто специфическое”, Бродский ответил, что “к поэзии неприменимы прилагательные” и что женский голос в поэзии отличается от мужского “только глагольными окончаниями”23 . А на последний в этом диалоге вопрос, согласен ли он с Ахматовой, всегда говорившей, “что первый поэт XX века — это Мандельштам”, последовал ответ: “Ну, если уж вообще пускаться в такие разговоры, то нет, не согласен. Я считаю, что Цветаева — первый поэт XX века”24 .

Знаю, что оба ответа Бродского многим покажутся спорными, и привожу их здесь отнюдь не для разжигания полемики, а только для того, чтобы, опираясь на авторитет большого поэта второй половины XX века, показать, в *каком* окружении и на *каком* месте совершенно естественно и законно смотрится сегодня Цветаева. Конечно, мне могут возразить, что почти век спустя все воспринимается иначе, что “большое видится на расстоянье”, что в гуще живых голосов оценить чистоту и высоту каждого совсем непросто, что, наконец, право на субъективность имеет любой. Имеет. Но все же в неких пределах.

Цветаева свой “Ответ Осипу Мандельштаму” писала в 1926 году — тоже из самой гущи времени — и говорила вещи, идущие вразрез с общей точкой зрения, шокирующие многих. Но когда по ходу ее резкого и нелицеприятного разговора возникали рядом с Мандельштамом другие поэтические имена, то это были имена Блока, Гумилева, Пастернака, Маяковского, Есенина. Его уровень и масштаб она всегда *знала*. Ибо как поэт с историей обладала “ясным взглядом на других” и никакому своему настрою, никакому захлестнувшему ее негодованию этот взгляд в жертву не приносила. Не могла себе позволить по причинам внутренним и для нее священным. Чему свидетельством оброненная в письме к Пастернаку фраза: “Сопоставление Рильке и Маяковского для меня при всей (?) любви (?\*\*) моей к последнему — кощунство. Кощунство — давно это установила — иерархическое несоответствие” (VI, 269). Письмо отправлено в феврале 1927 года, значит, то “давно”, о котором говорится в нем, покрывает предыдущий 1926 год — время написания ее “Ответа”.

Хочу ли я сказать, что сопоставление 30-летней (т. е. вполне зрелой уже) Цветаевой с Радловой, Парнок, Адалис кощунственно? Да, хочу. Думаю ли я, что Мандельштам кощунствует сознательно? Нет, не думаю. Он просто один из тех “чистых лириков”, которые никого, кроме себя, *ясно* не видят и “изнутри” не ощущают. Не любить, но знать цену, место, “ряд” — это не для “поэта без истории” Осипа Мандельштама. Будь иначе, скажи он то, что сказалось в “Литературной Москве”, сгоряча, пойми он свою неправоту позже, он — даже оставаясь ярым “антицветаевцем” — нашел бы, вероятно, случай, вернуть Цветаеву в соприродный ей, родной им обоим круг больших поэтов. Но ничего этого не случилось — упоминание Цветаевой в “Литературной Москве” — это последнее слово о ней Осипа Мандельштама, ибо любая выстроенная им иерархия базируется на вкусовом предпочтении, и в этом смысле она одномерна.

Много позже, в 1958 году, Н.Я.Мандельштам в письме к Ахматовой, говоря об оценочных статьях мужа, написанных в начале 20-х годов, вольно или невольно признает это: “Читая Осин архив, я увидела, что у него был период удушья, когда он рвался в судьи поэзии, хотя ведь это не ему было делать — ведь сам-то он подсудимый. Это период статей в “Русском искусстве” (по мнению публикатора и автора комментариев Н.И.Крайневой, сюда относится и “Литературная Москва”. — *Т.Г.*), где все оценки всех поэтов кривы и косы... У него был еще ряд статей (о Вас там ничего нет), где масса кривых оценок и глупостей, совершенно на него не похожих. Тут в чем дело: когда у него влюбленность в чьи-то стихи — у него голос поэта. Когда он отмахивается от чужих стихов — он сам не свой...”25 В письме сказано еще, что сам Мандельштам считал эти свои статьи “случайными” и не пожелал включать их в сборник 1928 года, а Надежда Яковлевна собиралась записать все, что знала о настоящих оценках мужа. О Марине Цветаевой ни слова. В комментарии в связи с “Литературной Москвой” упомянуты только “критические суждения о Маяковском” — Цветаева и здесь обойдена молчанием. И тем не менее письмо это представляет для нас интерес как семейное, а значит — максимально приближенное к Мандельштаму свидетельство того, что неверные суждения о поэтах-современниках не были редкостью для Мандельштама и что критерием его оценки другого поэта была “влюбленность-невлюбленность”, то есть сугубо субъективное начало. Понятно желание Н.Я.Мандельштам внести поздние коррективы в пестрый узор “случайных”, как она считает, высказываний мужа, дать им верное, с ее точки зрения, объяснение. Как знать, родись Надежда Яковлевна поэтом, может она была бы поэтом с историей, но она была только женой поэта, в цветаевском определении — поэта без истории, и хотя определение это состоит из двух слов, передает оно понятие не составное и не делимое, и потому возможности двух, даже самых близких людей в сумме своей к нему не восходят. Так что последним словом Мандельштама о Цветаевой так и осталось слово, сказанное в “случайной” статье 1922 года.

А теперь еще одно и, пожалуй, последнее обращение к “Поэту о критике”. В конце главы “Кого я слушаю” Цветаева говорит, что за недостающими ему знаниями поэт идет к специалистам — морякам, ремесленникам, ученым. “Что я знаю от рождения? Душу своих героев. Одежды, обряды, жилища, жесты, речь — то есть все, что дается знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и археолога. В поэме об Иоанне д’Арк, например:

Протокол — их.

Костер — мой”. (V, 285)

В “Шуме времени” Цветаева увидела только точный протокол и не нашла души, которая бы оживила всю богатую деталями и штрихами картину. Мертвый протокол — не поэтово дело. И от соприкосновения с ним разгорелся костер цветаевского негодования. Костер, не затухавший целых пять лет, ибо и в письме 1931 года к Р.Н.Ломоносовой все еще грозно посверкивают искры его пламени: “А разошлись мы с ним (с кн. Д.П.Святополк-Мирским. — *Т.Г.*) из-за обожаемой им и ненавидимой мной мертворожденной прозы Мандельштама — “ШУМ ВРЕМЕНИ”, где живы только предметы, где что ни живой — то вещь” (VII, 330). Не затухавший, пока из другого, уже реального огня — сжигались перед ее отъездом бумаги Е.А.Извольской, помогавшая приятельнице Цветаева по возвращении домой принялась разбирать и свои бумаги и ненужное сжигать — не вынырнули, чудом спасшись, две мандельштамовские строки:

Где обрывается Россия

Над морем черным и глухим.

Строчки из стихотворения “Не веря воскресенья чуду” — третьего и последнего, адресованного Цветаевой летом 1916 года, стихотворения уже не московского, а коктебельского и отнюдь не холодного. И чудо воскресения и примирения случилось: Цветаева вспомнила приезд Мандельштама в Александров, где она гостила у сестры, вспомнила их прогулки по окрестным холмам, с обязательным заходом на кладбище, так пугавшее Мандельштама, словом, вспомнила все то, чем навеяно было это прощальное стихотворение. И написала мемуарный очерк “История одного посвящения”, а написав и прочитав на вечере, радостно делилась с С.Андрониковой-Гальперн: “Когда читала о Мандельштаме, по залу непрерывный шепот: “Он! Он! Он — живой!” (VII, 140).

Не протокол московских красот, не условно любимая женская тень, затерявшаяся среди них, и не туманные исторические аллюзии, навеянные местом прогулок и темой бесед, то есть не те “несколько холодных великолепий о Москве”, которые с горечью помянула Цветаева в своей тетради, а теплое человеческое слово, прямо, без “элегантных” аллюзий обращенное к ней, воскресило летом 1931 года атмосферу давней дружбы и образ молодого Мандельштама. Прочтем хотя бы в отрывках это стихотворение и поймем, почему “эту собственность” — посвященность именно ей *этого* стихотворения — Цветаева взялась без раздумий отстаивать:

Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

— Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает те холмы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

От монастырских косогоров

Широкий убегает луг.

Мне от владимирских просторов

Так не хотелося на юг...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Целую локоть загорелый

И лба кусочек восковой..

Я знаю — он остался белый

Под смуглой прядью золотой.

А отстаивать приходилось, ибо был у написания мемуаров, помимо лирического, еще и прозаический повод. В феврале 1930 года в парижской газете “Последние новости” были напечатаны воспоминания поэта Георгия Иванова. Назывались они “Китайские тени” и содержали недостоверные и неприглядные подробности жизни Мандельштама в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина. Неприязненный по отношению к хозяину дома и достаточно развязный по отношению ко всем персонажам пошловатый тон этих “воспоминаний” выразительно дополнял такое их содержание. Именно этот “фельетон” Георгия Иванова и вынырнул из огня, а строки Мандельштама оказались первым, что бросилось в глаза. Каково же было изумление Цветаевой, когда в обрамляющем их тексте она прочитала, что стихотворение это “написано до беспамятства влюбленным поэтом” и адресовано “очень хорошенькой, немного вульгарной брюнетке, по профессии женщине-врачу”, которую в Коктебель “привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать”. К изумлению добавилось возмущение, когда “фельетон” Иванова поведал ей, что “суровый хозяин” и “мегера-служанка” (в каковую превратилась под пером мемуариста мать Волошина) применяли к Мандельштаму “особого рода пытку” — “ему не давали воды”, а еще “кормили его объедками” и всячески потешались над ним. “С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке” — и так далее в том же духе26. Прочитав все это, Цветаева взялась защитить своих друзей, свой Коктебель, *свое*, то есть вдохновленное ею стихотворение. Ее очерк с полным основанием мог бы называться “Мой ответ Г.Иванову”, ибо и по сути (защита от несправедливости), и по построению одной из частей он очень напоминает “Ответ” Мандельштаму. Но она назвала его иначе и была, как всегда, впрочем, точна, потому что не собиралась делать героем своего очерка Г.Иванова (он у Цветаевой даже не назван) — ее герой здесь, как и в “Ответе” на “Шум времени”, Осип Мандельштам, и неважно, что тогда она защищала от его нечуткости полковника Цыгальского, а теперь его самого защищала от разыгравшейся фантазии дружившего с ним когда-то Г.Иванова. В обоих случаях, тогда, как и сейчас, ее герой один, а тема ее — “защита бывшего”, причем в слове “бывшее” актуализированы оба значения: бывшее как прошлое, прошедшее, в том числе и ее прошлое, и бывшее — как имевшее место так, а не как-либо иначе.

Однако и этот “ответ” Цветаевой не был опубликован при ее жизни: в “Последних новостях”, которым она предложила “Историю одного посвящения” — для нее места не нашлось. “История” была напечатана только в 1964 году в журнале “Oxford Slavonic Papers”. А спустя два года, в 1966, благодаря публикации в журнале “Литературная Армения” воспоминания Цветаевой о Мандельштаме пришли и к отечественному читателю. В дальнейшем они включались в разные издания Цветаевой и сегодня не только широко известны и признаны, но и достаточно изучены. Именно поэтому, не останавливаясь более подробно на содержании очерка, скажу здесь лишь о той роли, которую он сыграл как слово, подводящее итог многолетним “очным” и заочным отношениям Мандельштама и Цветаевой.

Приглашая С.Андроникову-Гальперн на свой вечер с чтением “Истории одного посвящения”, Цветаева писала, что в очерке “дан *живой* Мандельштам и — добро дан, великодушно дан, если хотите — с *материнским юмором”* (VII, 139), и при этом как бы ставила такое свое отношение к герою мемуаров себе в заслугу — то есть, надо понимать, могло бы быть и иначе. Обратим внимание на “великодушие”, ибо слово это наименее нейтральное, оно заметно выделяется из обычного ряда положительных характеристик: по-доброму, с пониманием, с юмором, нежно, по-дружески, тепло и т. д. Оно, в отличие от остальных, подразумевает причину, мотив, а в нашем случае не один даже, а два мотива. За ним стоит, во-первых, великодушие к слабостям, чудачествам, если угодно, странностям Мандельштама — легко, дружески прощаемым. За ним, во-вторых, стоит великодушие к тем чертам Мандельштама-человека, которые почувствовала Цветаева в “Шуме времени” и осудила в своем “Ответе”, не переставая настаивать на своем до самого времени написания очерка. Значит, когда писала, что-то еще, кроме слабостей и чудачеств, что-то для себя очень значительное наконец простила, или в душе своей нейтрализовала. За что простила? Да за то, чего ни разу не поставила под сомнение — за большого поэта в нем. Интересно, что в “Истории”, хоть и не в связи с Мандельштамом, сказаны слова, такое прощение возводящие в принцип: “Даровитость — то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все” (IV, 146).

Радостью внутренней победы, радостью самопреодоления и прощения, думаю, и обусловлена в высшей степени светлая, дружественная атмосфера и интонация мемуарного очерка.

Осталось сказать совсем немного. Последнее слово Марины Цветаевой о Мандельштаме ответило — спустя 15 лет — его по счету третьему, а по сути первому стихотворению, *обращенному* к ней. И отныне не “бегством” Мандельштама из Александрова, не поспешными проводами на вокзале, не случайными встречами последующих лет и не взаимными выпадами будет обозначен финал так непросто сложившихся отношений двух поэтов, а возвращением Цветаевой в лето 1916 года и ее *добрым* словом, долгий срок спустя, поверх всяческих границ и отграничений откликнувшимся на прощальное посвящение Мандельштама. Сама жизнь, со свойственной ей иногда мудростью, облаченной в одежды случайного совпадения, напомнила Цветаевой дорогие строки, а “умное чувство” и на сей раз не обмануло ее, распознав где-то рядом поступь судьбы. Судьбе же было угодно, чтобы написалась “История одного посвящения”, и не “одного из”, а именно *одного*, самого главного, в своем роде единственного, венчающего поэтический диалог двух великих поэтов, — посвящения, заключительные строки которого так и просятся в последнее слово Осипа Мандельштама о Марине Цветаевой:

Нам остается только имя:

Чудесный звук на долгий срок.

Прими ж ладонями моими

Пересыпаемый песок.

1*Цветаева М.* Сводные тетради. М. 1997. С. 280

2Цит. по кн.: *Лидия Чуковская*. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М. 1997. С. 519.

3Там же. Т. 2. С. 41

4Там же. С. 41

5В мае того же 1926 года она, жалуясь Рильке на упреки, обрушившиеся на нее в связи с задевшей многих статьей “Поэт о критике”, как нечто не вызывающее сомнений обронила: “Поэт (глупец!), который осмеливается писать прозой!” (VII, 59).

6*Осип Мандельштам*. Сочинения в 2-х томах. М. 1990, Т. 2. С. 34.

7Там же. С. 34

8*Мандельштам О.* Сочинения. Т. 2. С. 56.

9*Мандельштам О.* Сочинения. Т. 2. С. 55—56.

10См. в кн.: *Сарнов Б.* Бремя таланта. Портреты и памфлеты. М. 1987.

11См. комментарий к стихотворению “В разноголосице девического хора” — в кн.: *Мандельштам О.* Сочинения. Т.1. С. 475

12*Омри Ронен.* Осип Мандельштам. “Литературное обозрение”. 1991. № 1. С. 13.

13Там же. С. 18

14Там же. С. 13

15*Поляновский Э.* Гибель Осипа Мандельштама. Пб.-Париж. 1993. С. 83

16Там же. С. 87

17*Герштейн Э.* Мемуары. СПб. 1998. С. 432-433

18Аверинцев, С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. — В кн.: *Мандельштам О.* Сочинения в 2-х томах. Т. 1. С. 6.

19“Литературное обозрение”. 1991. № 1. С. 3.

20*Мандельштам О.* Сочинения в 2-х томах. Т. 2. С. 275.

21Там же. С. 276

22*Мандельштам О.* Сочинения. Т. 2. С. 275

23*Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. С. 46, 47.

24Там же. С. 59.

25Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 99

26“Китайские тени” цитируются по изданию: Из литературного наследия. Георгий Иванов. М. 1989. С. 458.

\*Ибо трудно представить, чтобы в те грозившие ему опасностью дни такими были чувства Мандельштама к выручившему его человеку. Вряд ли тогда мог у него возникнуть вопрос, который, как мы увидим, прозвучит в “Шуме времени”: “Зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?”

\*\*В цитате сохранены авторские знаки препинания.